

Александр БОРЩАГОВСКИЙ:

«Истрадавшийся читающий народ — это и есть интеллигенция»

**МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК
85-ТИ ЛЕТ**



Две жизни старого писателя

НАШИ ДАТЫ

Новая газета
998 г. — 1998. — 12-18
окт. — с. 12

По телефону, договариваясь о встрече, я спросил его, на какое время из тех, что он прожил, похоже нынешнее. И он, которому через несколько дней 85, «баловень судьбы» (это самоаттестация), критик, редактировавший до начала войны киевский журнал «Театр», с 1947-го член редколлегии симоновского «Нового мира», «безродный космополит» (аттестация редакционной статьи из «Правды» от 28 января 1949 года), старый писатель и драматург, чья пьеса «Дамский портной» о Бабьем яре несколько лет назад поставлена на Бродвее, а новая — замечательная! — о Михоэлсе — еще нигде, и чьи «Три тополя на Палихе» в советском кино были пересажены на Плющину, с молодым вызовом ответил: «Ни на какое!»

— Можно, спрашиваю, вот с этого и начнем?

— Можно, — согласился Александр Михайлович, — только мне не хотелось бы говорить о том, про что сегодня талдычат все: о политиках этих наших.

У меня нравственного права на это нет. Я настолько презираю большинство тех, кто сегодня определяет нашу жизнь...

У него самого было две жизни. И обе — огромные. Одна, включая войну и два послевоенных года — украинская. В той, первой, — другое небо, другой родной язык. Там — институт экстерном и диссертация по украинской драматургии, там он, двадцатилетний, был немалым начальником в республиканском реперторме, а после, как он сам говорит, «обслуживал войну» (то есть писал фронтовые корреспонденции), там иллюзии комсомольской юности, которые, быть может, и позволили ему выжить.

Когда взяли двух его друзей, Борщаговский пошел в местную Лубянку требовать их освобождения. Друзей, конечно, не отпустили, но, когда в республиканских газетах уже на него самого появилось два печатных доноса и его трижды исключали из комсомола, все три раза его товарищи единогласно проголосовали против исключения, и уполномоченный чекист, на-

конец, хлопнул дверью, вскричав: «Вы что, хотите, чтобы мы арестовывали с комсомольскими билетами?»

Вторая жизнь началась с Константина Симонова, который предложил далекому от столичной литературы провинциальному критику переехать в Москву.

Через два года с Борщаговского и шести его коллег начнется кампания очередной сталинской прополки культуры. Его вышвырнут из «Нового мира» и из Театра Советской Армии, где он был завлитом, отберут квартиру. По «делу Борщаговского», которое открыть, впрочем, забудут, кто-то пойдет на лесоповал, а он, исключенный отовсюду, без возможности профессией заработать хоть копейку, на два года нырнет в Ленинку и напишет первый свой роман «Русский флаг». И академик Тарле посоветует молодому прозаику, исключив диалоги и прочую «любовь», защитить роман как диссертацию.

Здесь, во второй жизни, он встретит Валентину Филипповну, с которой они вместе уже 52 года. Здесь он не разрешит себе ни одной строки о войне, потому что только «обслуживал ее» и окопной правды не знал.

Во второй жизни будут написаны все его книги, и в середине нынешнего октября, когда под яблочный пи-

рог Валентины Филипповны он достанет всегдашнюю, словно самозаполняющуюся от раза к разу, от гостя к гостю, бутылку красного грузинского вина, он сам удивится: «Знаете, я ни разу не произнес sacramентальную фразу про то, что время быстро пролетело!»

Друзья помолодели. Но друзья, которые моложе тебя на несколько десятилетий, не должны замечать твой возраст. Иначе будет трудно дружить.

На нашу встречу я не брал диктофона. Для разговора он все-таки помеха. И так, лист бумаги и монолог Борщаговского, который до сих пор я просто пересказывал:

— То, что жизнью оказалось две, и обе полноценные, долгие и, с моей точки зрения, прекрасные, привело к тому, что нет тоски, мол, как все промелькнуло, мол, надо иначе. Если б не было той, первой жизни, может быть, я не потратил бы четырнадцать лет на театр. Ведь, когда меня пытались уничтожить, это было из-за моего протеста против того, во что превращалась советская драматургия и сцена. Господь сотворил великих актеров — Качалова, Москвина, Тарханова, но что они вынуждены были играть? Я понимал, что для них писал Чехов, а их заставляют со сцены декламировать таблицу умножения. У меня не было

нравственных сил сказать правду, но хватило и того, что сумел сказать. Софронов, Ромашов и Суров возненавидели меня, потому что я мешал им получать их Сталинские премии.

Сегодня театр бесконечно лучше, чем то, что было.

Полвека назад в театре я знал лишь несколько высоких образцов: несколько спектаклей во МХАТе и в «Вахтангова».

До войны у меня была вера в то, что все будет прекрасно. (Молодость, по-моему, не бывает без этого ощущения радости бытия.) Оглянулся после войны, а все худшее как раз и строит театр...

Попросили бы меня сегодня составить хрестоматию советской драматургии сороковых и пятидесятых, я бы не знал, что включить. До появления Володина и Вампилова было еще десятилетие...

А Чехов считался классиком, но погрязшим в «мелкотемье».

Не верьте, когда слышите, что у нас нет сегодня театра. Или живописи. Или поэзии и прозы.

Не верьте, когда говорят об упадке русской культуры. Так говорят те, кто культуры не любит и не чувствует.

За последние два года я прочитал «Прокляты и убиты» Астафьева и «Андеграунд» Маканина. Вы читали?.. Вот то-то и оно: убежденность, что кругом пустота, вползает в нашу душу раньше, чем что-то прочтано.

Чисто российская, а может быть, советская черта. Немилосердность. На Западе появление любого крупного писателя — это надолго. А мы расстаеться с нашими через год после того, как они нас потрясли. Мы и в культуре ищем «сенсаций».

После смерти Тендрякова вышли два его романа, их кто-нибудь заметил?

О Трифонове книги написаны, а он забыт, хотя сегодня современнее многих и многих.

В последние годы я объездил многие города Подмосковья и уповаю сегодня на узкую русскую интеллигенцию. Одеты они плохо, есть им нечего. Еду в очередной город и

боюсь, а вдруг и они читать перестали?..

Не перестали. Потому, что не утратили совести и умения сострадать чужой жизни, то есть того, что и есть интеллигентность. Это те, кого описал в двух своих последних очерковых книжках, проехавший по маршруту Радищева Валерий Писигин. Истрадавшийся читающий народ — это и есть интеллигенция, а не те, которые бегают за президентом и делают пирог на тусовках.

Люди хотят читать, но у них отобрали эту возможность. (Я не бедствую, но сегодня могу лишь на полгода подписаться на один толстый журнал.)

Обстоятельства против нас, но я оптимист. Ведь читатель жив.

Вот вам один пример: восемнадцать лет мы таскали из школы в школу стенды будущего музея Паустовского. А теперь есть музей. (Лужков помог.) И вышел двенадцатый номер журнала «Мир Паустовского». Вот, смотрите, какой толстенный... И еще на шесть номеров материал уже собран!..

Вторая жизнь. Или все-таки уже третья?

Его приемная дочь Светлана вышла замуж за Алексея Германа, сама стала кинодраматургом и лауреатом. И вник уже взрослый, учится во ВГИКе.

Борщаговский из этой нынешней жизни пытается раздобыться с правдой и неправдой жизни первой: печатает в газетах нескончаемые списки репрессированных, болеет за «Мир Паустовского», аккуратно блюдет переписку с друзьями.

— Если б, — говорит, — мне сказали, что могу издать книгу, но только одну, издал бы письма ко мне Валентина Курбатова. У меня их восемьсот, сегодня вот еще одно пришло.

В этой второй жизни и новые прозаики, которых он откупывает по журнальным публикациям, и потом удивляется на нас беспечных и нелюбопытных: «Как, вы не читали?»

При несчастных наших встречах, спрашивая «как живете?», я, имею в виду каждый раз совсем другой вопрос: «Кем живете?»